

AM-91  
Г 35



ИНСТИТУТ НАСЛЕДИЯ

# ГЕОГРАФИЯ ИСКУССТВА



Москва 1998



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВЕДЕНИН Ю.А.</b> Введение .....	3
<b>I. Проблемы художественного восприятия культурных и природных ландшафтов</b> .....	9
<b>СКВОРЦОВА Е.А.</b> Понятие "Митиноку" как физическое и духовное путешествие художника .....	9
<b>СОКОЛОВ-РЕМИЗОВ С.Н.</b> Путевой дневник как один из жанров японской традиционной живописи .....	26
<b>ШЕПТУНОВА И.И.</b> Путешествие на Восток: дневник писателя .....	55
<b>ГУСЕЙНОВА Д.А.</b> К истории одного путешествия .....	78
<b>II. Место искусства в формировании образа территории</b> .....	95
<b>ЛАППО Г.М.</b> Литература и город .....	95
<b>БЕЛОУСОВ С.Л.</b> По следам героев Джентиле да Фабриано .....	119
<b>СЕРЕБРЯННЫЙ Л.Р.</b> География и живопись .....	153
<b>ЛАВРЕНОВА О.А.</b> Географическое пространство в русской поэзии XIX - начале XX веков .....	163
<b>III. Роль географических факторов в формировании культурного пространства</b> .....	209
<b>РУСТАМ-ЗАДЕ Д.Р.</b> Роль географического и этнографического факторов в формировании турецкой музыкальной культуры .....	209
<b>ПОПАДЮК С.С.</b> Плѣс (Геоурбанистические заметки) .....	231



**ШЕПТУНОВА И.И.**

**ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК:  
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ**

*Этот городок — халва  
называется Хива.*

*К чести города Хивы  
Никакой в нем халвы.*

*Минареты над Хивой...  
и т.д., все падежи.*

**А.Битов**

*И насадил Яхве — Бог Сад в Эдеме,  
на Востоке, и поместил там Человека,  
которого Он сотворил.*

**Пятикнижие Моисеево. 1,2,/8/.**

Когда это началось? Путешествие — вместе с человеком, путешествие на Восток — лишь тогда, когда люди, писавшие слева направо, и люди, писавшие справа налево, стали считать себя принадлежащими двум разным мирам — Европе и Азии. И кто был первым европейцем, отправившимся в “Азию” — Ясон, искавший Золотое Руно, или красавица Европа, переплывшая море на божественном быке? Во всяком случае, уже в мифологическую эпоху водные пространства, лежавшие между Европой, Азией и Африкой, были и преградой, и связью между этими мирами, и по ним пролегли Пути — для Елены Прекрасной “туда”, для Одиссея —



“обратно”. И уже с той поры тянется нить рассказа о пугающих и манящих заморских странах. Что из них достовернее — поэтическое сказание или исторический труд, — сказать трудно, хотя до сих пор поражает и точность Гомерова предания, позволившая Шлиману найти Трою по тексту “Илиады”, и фантазии Геродота о жизни восточных варваров. Для современного историка прикосновение к такому тексту превращается в двойное путешествие — продвижение по строчкам, словам и буквам — следу, оставленному в пустыне листа, — и погружение в смысл и форму повествования, складывающегося в этом движении.

Наше путешествие по тексту — это путь к автору, его времени, его взглядам, его умению, желанию или нежеланию видеть. Может показаться на первый взгляд, что, чем ближе к нам по времени автор путевых заметок, тем проще нам его понять, тем больше можно узнать из его пространных описаний. Но быть может, это не совсем так, ибо Миф — древнейшее совокупное знание — всегда точен, а людям свойственно ошибаться, ибо человек частичен, тем паче наш современник. И, лишь овладев языком Мифа, или хотя бы словарем его (1), мы обнаружим достоверность сохраненного им знания. И вернувшись из путешествия вместе с автором, мы узнаем и его самого — изменившегося в пути, нагруженного новым опытом и опытом этим нас одарившего.

Что же до путешествия на Восток — именно на Восток, *pach Osten, East, Orient*, то тяга к дальним странствиям всегда выражалась в стремлении на Восток, даже если при этом плыли на запад — чтобы открыть ту же дверь с другой стороны: пусть ее тогда называли Вест-Индией, но все же Индией, и хотя страна и поменяла потом название, но коренное ее население так и осталось для нас индейцами. (В этом собирательном названии для многих живых и исчезнувших народов сохранилась память не столько о географической ошибке, сколько о древней привычке видеть за пределами мира собственной культуры мир не просто другой, но и непременно стоящий ниже нашего — мир варваров), Восток оставался главным ориентиром для странствующих европейцев и в пору Александра



Великого, и во времена экспансии Римской империи, и после ее гибели — и для раннехристианского мира, и для эпохи Ренессанса. Не случайно средневековые картографы помещали восток в верхней части листа — уподобляя географическую карту плану храма с алтарной — восточной — апсидой.

Только эпоха Нового времени несколько переставляет акценты и меняет ориентиры, хотя основное направление на Восток сохраняет свое значение. Но цели — главные и сопутствующие — существенно меняются, что нашло отражение и в культуре путешествия, и в тональности путевых дневников. Средневековый Восток — прежде всего мир исламских государств — область сказочных богатств, блестящей науки, утонченной поэзии и музыкальной культуры, а города-крепости по всему побережью от Гибралтара до Босфора спорят красотой друг с другом и словно миражи встают над горизонтом, дразня взоры купцов и паломников. Но именно здесь, среди мечетей, базаров, медресе и караван-сараев, среди садов и библиотек, открытых странствующим ученым, среди роскоши и соблазна мусульманского мира таятся уцелевшие монастыри и скиты первых христианских святых, и через них проходят пути паломников к Святой Земле. Путешествие на Восток в эпоху Средневековья заключало в себе два несовместимых для обычной логики смысла: это был путь в чужой мир и путь к истокам — священным истокам — собственной культуры. Тем не менее оба смысла прекрасно совмещались более тысячи лет в многочисленных экспедициях, одиночных и массовых — торговых поездках, странствиях по святым местам, крестовых походах, демонстрируя иную логику — логику ритуальной культуры, инициации, логику добровольного смертельного риска и всеяющей отвагу веры, логику Пути.

*“...Одна лишенная снасти галера, полная паломниками, возвращавшимися от Гроба, так как была стара, дала течь, и утонуло их до двухсот человек, все бедняки, ради малой платы сели на такой дрянной корабль; как и бывает чаще всего, потому что бедняки всегда в убытке, — пишет в своем путевом дневнике Лионардо ди Никколо Фрескобальди, флорентиец, отплывший из Венеции*



на Восток, через Александрию в сентябре 1384 г. — *Но по нашей святой вере прибыль их, должно быть, лучше нашей, потому что, думаю, они уже у ног Христовых*” (2).

Лионардо Фрескобальди вместе со своими спутниками совершил полугодовое странствие во Святую Землю, странную, но вполне естественную для такого путешествия смесь паломничества, коммерции и военной разведки. Их записки, конечно, бесценный источник для историков. Но прежде всего они ценны для своего времени, ибо, как пишет И.М.Фильштинский, из них видно, “какими путями шло проникновение разнообразных сведений о жизни народов Востока в Европу на рубеже нового времени, а следовательно, как осуществлялось взаимовлияние этих двух, в ту пору еще столь отличных миров” (3).

А влияние это вплоть до эпохи Высокого Возрождения было почти односторонним: страны Востока одаривали Европу плодами своей культуры, не заботясь пока о том, чтобы нечто оттуда заимствовать: это было раньше, когда Восток жадно впитывал наследие античности, это будет позже, когда Европа вырвется из традиционного уклада жизни, изменится склад мыслей, и не ко Гробу Господню устремятся на Восток, но совсем с иными целями. Пока же этого не произошло, расцветающий Ренессанс строит нового человека с помощью восточной учености. Для краткости изложения обратимся вновь к авторитету И.М.Фильштинского: “Разностороннее влияние мусульманского Востока на европейскую культуру позднего средневековья общеизвестно. Оно сказалось в самых различных сферах — от науки и философии (в результате переводов с арабского на латынь как ученых античного мира — Аристотеля, Платона, Евклида, Птоломея, Галена и других, так и ученых Востока — Ибн Сины, Ибн Рушда, аль-Хваризми и т.д.), а также изящной словесности до изобилующей мавританскими мотивами романской архитектуры и ремесел (особенно в производстве изделий из драгоценных металлов, оружия, керамики, ковров и т.д.). Европа довольно рано познакомилась с дидактической и повествовательной литературой Востока, с животным эпосом “Калила и Димна”, книгой Синдбада



о женском коварстве, некоторыми сюжетами "1001 ночи" и арабского фольклора.

Возвышенная любовь, красочное описание которой содержалось еще в поэзии арабских узритских лириков и которая так тонко анализировалась андалусским прозаиком XI в. Ибн Хазмом в "Ожерелье голубки", оказала влияние на развитие "учтивых" чувств в Европе, пришедших на смену раннесредневековой грубой чувственности. Многими чертами любовная лирика арабов предвосхитила европейскую поэзию, например лирику "нового сладостного стиля", повлияв на провансальскую поэзию трубадуров, а через нее и на всю европейскую поэзию в целом" (4).

Лионардо Фрескобальди с друзьями не напрасно собирал в пути особые сведения по поручению короля Карла Неаполитанского и епископа Вольтеррского — *"наблюдать тамошние пристани и города, чтобы рассказал я по возвращении, где можно было бы с удобством пристать войску, наблюдать и реки, и места и поля, где раскинуть стан, и какие города можно бы взять боем, потому что я в этом малость искушен, потому как по грехам моим участвовал в семи сражениях"* (5). Крестовые походы Средневековья сменились военными экспедициями нового времени, обозначившегося в истории эпохой Великих географических открытий и социальных революций. Новая власть — власть третьего сословия — породила и новые формы европейской экспансии, и вслед за открытием Вест-Индии рождаются Ост-Индийские компании: все-таки Восток сохраняет свою привлекательность и для новых европейцев. Только чуть меняется порядок и вес трех составляющих былых странствий: впереди теперь идет человек третьего сословия — *"сотрудник компании"*, за ним — военные, подтверждающие его коммерческие права силой оружия, и вслед за тем — миссионер, сменивший бывшего паломника, ибо не к истокам своим теперь устремляется европейское христианство, но утверждает Слово в покоренных пределах.

Путешествие на Восток в эпоху нового времени обретает новый смысл, новые цели, и даже новую географию. Прежде карту



чертил человек, обратившийся лицом к солнцу: у арабов — к полуденному, у европейцев — к утреннему. Теперь взор его подчинен стрелке компаса, указующей на Север, и Восток — ост-ориент перестал быть Ориентиром. И долгий путь на веслах или под парусом, или с караваном под палящим солнцем становился все короче и короче — словно скорость пара, а потом и полета, втягивала в себя не только время, но и расстояние. На исходе XX в. Андрей Битов назовет это “хирургией пространства”, а свои путевые впечатления — “изнанкой путешествия”. И трудности пути и ожидаемые встречи по-иному встают перед путешественником, и причины для перемены мест — иные, и границы “Европы” и “Востока” — не те (6).

*“Я бежал из Парижа и затем покинул Францию, потому что меня навязчиво преследовал вид Эйфелевой башни.*

*Не только самая башня, видная отовсюду, но и ее модель, воспроизведенная из всех возможных и известных человечеству материалов, запленившая витрины, тяготила меня неизбежным и мучительным видением”, — так начинает свои путевые записки “Бродячая жизнь” Ги де Мопассан. “Именно искусству архитектуры дана радость во все века служить символом известной эпохи... Вообразите же, что скажут отдаленные потомки о нашем поколении, если только вспышка народного гнева не повалит эту высоченную и тощую пирамиду железных лестниц. Что скажут они об этом безобразном гигантском скелете, основание которого как будто предназначено для поддержания громадного здания, а в действительности увенчивается нелепо тощей фабричной трубой” (7).*

Оставим в стороне вопрос о путях развития новой архитектурной мысли, для которой сооружение знаменитой башни к открытию Парижской всемирной выставки в 1889 г. не прошло бесследно. Французский писатель имел право на известный консерватизм вкуса, тем более, что за этим стоит нечто большее, чем эстетические предпочтения.

Мопассан бежит из Парижа, бежит от суетности толпы, от фальши нарождающейся массовой культуры, к свободе и истине, которые мнятся ему где угодно, но только не во Франции. Этот путь



естественно складывается у него по уже освоенной дороге: за год до того он совершает путешествие на яхте по Средиземному морю, описанное в цикле очерков "На воде", а еще раньше — путешествие по Северной Африке (цикл "Под солнцем"). Он повторяет в общих чертах путь итальянских странников спустя половину тысячелетия. И сходство, и различие в описании этих путешествий и в отношении к самому предприятию достаточно выразительны.

Для "лечения от Эйфелевой башни" Мопассан использовал уже знакомое ему лекарство путешествия, причем Восток кажется более сильным средством. Как тут не вспомнить другую болезнь, посетившую флорентийца Фрескобальди, как раз тогда, когда их кокка готовилась отправиться к афинским берегам:

"Как устроились все эти по сказанному, я заболел; и время трогаться приближалось, а врачи запрещали мне выходить в море; отчего Джорджо и Андреа собрали некоторых Флорентийских купцов и многих Венецианцев, друзей Флорентинцам, и, посоветовавшись с врачами, решили, что на этот раз ходу нет и что мы возвращаемся во Флоренцию (...) Там и стал советовать мессер Ремиджи Соранци, говоря: <<Вы, Флорентинцы, непривычны к морским бурям, как мы и другие поморцы, когда даже и самые здоровые в мире пускаются в такое плавание, как отсюда до Александрии, бедствует сколь угодно крепкое тело всякого морехода. И потому мы все единогласно говорим и советуем, чтобы не выходил ты в море и не искушал бы Бога>>. И остальные подтвердили его слова. На каковые речи отвечал я, что не искушаю Бога, а напротив, поручаю себя Его милосердию; и что не то что хворого сделать здоровым, но мертвого живым — Ему незатруднительно; что намерен я раньше увидеть врата Гроба, нежели врата Флоренции, и буде Бог попустит, чтобы море стало мне могилою, я буду доволен. (...). Сентября в 4 день 1384 года ранним утром все мы паломники причастились истинного тела Христова <...> и сказанного месяца в 19 день прибыли в Модону. <...>. Вплоть до этого места держала меня лихорадка, и был я как дохлая курица. А в этом месте лихорадка оставила меня" (9).



Основательность сборов, серьезность намерений и опасность не столь уж дальнего плавания так резко отличают эту экспедицию, именуемую самими ее участниками паломничеством, от спешного отъезда Мопассана, торопившегося остаться наедине с морем. И если Париж и Франция 1889 г. раздражали писателя, то для флорентийцев “врата Флоренции” были так же священны, как и “врата Гроба”, а все решения принимались сообща, и невозможно было выступить в путь без славного Фрескобальди. Сам Фрескобальди считает предприятие столь важным, что не может допустить его отмены, несмотря на страдания и опасность для жизни, и столь благим, что не сомневается в благословении небес. Здесь все — во славу христианского мира, на благо ближнего, и знание, добытое в путешествии и заботливо продублированное спутниками, героически приносится к стопам христианских правителей.

Чего ждал от поездки на Восток Мопассан, впервые отправляясь туда? Мечта увидеть Иерусалим вела крестоносцев к стенам мусульманских крепостей с такою же неудержимой силой, как и религиозный долг. Но цель была столь ясно определена многовековой традицией, что не оставляла места неопределенности: средневековый рыцарь “знал”, что он должен увидеть. Мопассана волнует именно “неизведанное” — в выходе из привычного мира заключалось условие свободы, “свободы от”.

Мессер Ремиджи Соранци предупреждал Флорентинца о бедствиях пути, и сам он повествует о затонувшей галере, разбитой штормом уже вблизи родной земли. Ожидания образованного путешественника конца XIX столетия далеки от тревог их предшественников, зато наполнены уже добытыми ранее знаниями, которые будят воображение — в известных пределах.

*“Мечтаешь всегда о любимой стране. Одному хочется в Швецию, другому в Индию. Этот мечтает о Греции, а тот стремится в Японию. Меня, — я чувствовал это, — в Африку тянуло какое-то непреодолимое стремление, какая-то тоска по неизвестной пустыне, тоска, похожая на предчувствие нарождающейся страсти.*



Я покинул Париж 6 июля 1881 года. Я захотел увидеть эту страну солнца и песков в самом разгаре лета, под удручающим зноем, в яростном блеске солнца. <...> И вот этот-то полдень пустыни, расстилающийся над безбрежным и неподвижным морем песков, заставил меня покинуть "цветущие берега" Сены... прохладное утреннее купанье, зеленую сень лесов, покинуть все это для того, чтобы посетить раскаленные пески" (10).

Вот оно, ожидание "Востока" — еще не знакомого — ожидание телесного соприкосновения с горячим воздухом, зыбучим песком, активное, чувственное переживание, опережающее реальность. Отправляясь на Восток, мы ждали того, что уже знаем о нем, чтобы он опрокинул наши представления — не опроверг предварительное знание, нет, — но показал совсем другое, неожиданное, заставляющее забыть о воображении ума и тела. И Мопассан, рисуя в воображении "полдень пустыни" (он должен был гениально догадаться об этом подвохе) вдруг вспоминает Флобера: "Можно представить себе пустыню, пирамиды, сфинксов, прежде, чем их увидишь, но чего никак себе необразишь, — это голову турецкого цирюльника, сидящего на корточках у своих дверей". — "Разве не интересно узнать, что творится в этой голове?" — Ги де Мопассан не был бы самим собой, если бы забыл задать этот вопрос (11).

Итак, путь на Восток "под солнцем" (географически — на Юг, в Магриб) начинается. У Мопассана, как и Фрескобальди, спутники на корабле — но не друзья, готовые разделить все трудности странствия, а попутчики. "На корабле обедают. Пассажиров немного... На конце стола сидят полковник, врач и два алжирских буржуа с женами.

Разговор идет о той стране, куда мы направляемся, и о том, какое административное устройство для нее целесообразнее всего.

Полковник решительно высказывается в пользу военного управления... Капитан корабля остроумно замечает, что дело управления должно находиться в руках моряков, потому что Алжир доступен только с моря.



Алжирский буржуа упрекает правительство в грубейших ошибках, и все хохочут, удивляясь, как можно делать подобные оплошности” (12).

Да полно! Разве это — “неизведанное”? Не в далекие чужие края едет наш путник, но просто совершает прогулку по своей стране, где соотечественники его вправе решать устройство жизни по своему усмотрению. И это состояние туриста, пусть наблюдательного, продолжается и в первые дни на африканском берегу. Правда, турист Мопассан в совершенстве владеет словом, и Тартарен из Тараскона вовремя вспоминается ему, и иронический взгляд на французов в Африке позволяет заметить не только самоуверенное пустословие застольной беседы, но и — на следующий день — изумительную по абсурдности вывеску — “Клуб алжирских конькобежцев” в “европейской” части города. “С первых же шагов чувствуешь себя смущенным и неприятно пораженным подобным, плохо примененным к этой стране прогрессом, грубой и неловкой цивилизацией, неприспособленной ни к обычаям, ни к людям, ни к африканскому небу. Мы сами кажемся варварами среди этих похожих на зверей варваров, но зато, правда, чувствующих себя среди вековых обычаев, как у себя дома, среди обычаев, смысл которых для нас будто еще непонятен” (13).

Будем сразу же признательны автору за эту оговорку: о ней надо помнить каждый раз, когда он помянет “варваров” крутым словом, ведь и к своим соотечественникам он относится так же непредвзято, и границу своего понимания тоже чувствует... Вот он начинает первую прогулку по городу, отмечая внешние приметы жизни то с восторгом, то с удивлением, то с отвращением.

“Неожиданная чарующая прелесть. Алжир превзошел мои ожидания. Как прекрасен этот город в ослепительном блеске солнца!” (14). И тут же — пока еще неточность, приблизительность описания: “Иногда неожиданно встречаются спуски в какие-то ямы, служащие жилищем, или же таинственные лестницы, ведущие в какие-то норы, в которых кишат многочисленные арабские семьи... Повсюду кишат необыкновенного вида люди. Несметное количество бродяг, или просто в одних рубашках, или



в каком-то подобии одежды, сшитом из двух холстин, или в мешках с дырами, предназначенными для головы и рук, с босыми ногами, — все это движется во всех направлениях, ругается и дерется, оборванное, выпачканное грязью, отдающее запахом скотного двора... Тартарен как-то сказал, что от них пахнет "тёрком". И действительно, здесь везде пахнет турком" (15).

Купец Фрескобальди из Флоренции в свое время был гораздо лучше осведомлен о том, во что одеваются на Востоке, а о сложностях продвижения через толпы и таможни пишет со спокойной небрежностью — ему это, видимо, и раньше было знакомо. Зато костюм магометанок или поведение "бродяг" описаны с точностью не случайного наблюдателя, но знатока: "Женщины одеваются в шелка по большей части, и хорошей выделки, а исподнее реймсской тканины или александрийского полотна из самых знатных, другие носят короткие, до колен, боккаччины, кроме того, что сверху носят как бы римскую накидку, и так закутаны и укупорены, что не видать ничего, кроме глаз, а самые знатные носят власяницу перед глазами, так что видеть их нельзя, а они других видят. На ногах у них пара белых сапожек, и носят они штаны со штанинами до пят, а по кромке штанин многие украшения, смотря по состоянию женщин, кто шелк, кто серебро, кто камни и кто жемчуга, шитые по сказанным штанинам.

...Мужчины в Египте преподлые, и ходят без всякого оружия, и ежели иной раз повздорят, так что нам казалось бы, вот-вот разнесут друг друга в клочки, а стоит одному крикнуть ста фурла, немедленно примирятся: ста фурла то же самое на нашем языке, что мир ради Бога" (16).

Такое знание начинает появляться и у Мопассана — но позже, когда импрессионизм описания сменится наблюдениями, расспросами, и, наконец, сопереживанием. Но это произойдет тогда, когда он проживет достаточное время под горячим дыханием пустыни, когда ему станут близки чувства обнищавшей колонистки, тоскующей по северной капусте на своей бесплодной земле, или гарнизонных офицеров, несущих службу с горсткой солдат в непонятной



стране, имя которой — пустыня. Это понимание своих на Востоке приблизит и понимание Востока, медленно и неохотно открывающееся, пробивающееся сквозь пелену собственной культуры — через удивление, потрясение, красоту.

Что можно было узнать в пустыне за двадцать дней путешествия? Много это или мало? Оказывается, достаточно для того, чтобы она захватила и вновь звала к себе — иначе почему именно здесь надо спасаться от видений Эйфелевой башни?

*”Забрезжил рассвет. В этих краях сумерек не бывает ни утром, ни вечером... Здесь прежде всего появляется слабый, рассеянный свет. Он усиливается, разрастается и в несколько минут охватывает все видимое глазом пространство. Затем на вершине горы или над краем безграничной равнины появляется солнце, которое, не меняя ни окраски, ни своего вида, подымается на небо... Но сильнее всего вас поражает безмолвие пустыни при солнечном восходе. Кому не знаком у нас задолго до начала дня ... первый крик птиц? Вслед за ним с соседнего дерева доносится ответный крик, потом уже начинается несмолкаемый гам, свист, повторяющиеся трели... Здесь ничего этого нет. Огромное солнце подымается над опустошенной землей и, словно оком властелина, высматривает, не осталось ли здесь еще живой души” (17).*

Постепенно продвигаясь по безводным путям, турист превращается в Путника, понимающего где встает мираж, как идут стада к затаившимся в песках колодцам, когда начинается незаметными струйками и дымками песчаная буря. Не созерцание пейзажа, но проживание пространства — сожженной кожей и пересохшим горлом — приближает к пониманию, рождающему любовь: ибо среди прочих вещей автор “Милого друга” напишет и такие миниатюры-шедевры, как “Аллума” или “Магомет Фрипуйль”, и новые путевые очерки и воспоминания, вошедшие в цикл “Бродячая жизнь”.

Пустыня дает новое знание, скупо и неохотно — но стереть его невозможно: “Конный араб, наш проводник, на пятьсот мет-



ров опередив наш маленький отряд, вел нас по однообразной угрюмой пустыне... Я спросил соседа:

— Каким образом он ориентируется в этих голых местах, где нет никаких следов дороги?

Он ответил мне:

— А кости верблюдов!

И действительно, почти каждые четверть часа мы натывались на огромные остатки скелетов, обглоданных зверями, сожженных солнцем, на кости, пятнами белевшие на песке...

— Откуда эти остатки? — спросил я.

— Караваны бросают на дороге животных, которые не в состоянии дальше следовать за ними; а шакалы не могут унести всего, — ответил мой собеседник... Однажды после полудня... я увидел впереди большую, увеличенную миражем коричневую массу. Ее форма меня поразила. При нашем приближении с нее сорвались два ястреба. Это была падаль, еще свежая, несмотря на жару, окрашенная гниющей кровью.

— Впереди нас едут путешественники, — сказал лейтенант" (18).

Пустота пустыни оказывается наполненной невидимым знанием, исподволь проникающим — в сознание или подсознание? В городской суеде столкновение двух пластов культуры производит тот "шум" (если воспользоваться жаргоном информатики), в котором тонет чистый звук подлинной традиции, и лишь очистив свой слух — не безмолвием пустыни, а жесткостью заданных ею условий бытия, — художник начинает осознавать закономерность, о которой раньше лишь догадывался.

Пустота пустыни объясняет "пустотность" культуры, подлинную "непривязанность" к быту и прочную связь быта с образом жизни: их вековая иерархия поддерживается не только традицией, но средой обитания. Мопассан нащупывает эту связь, может быть, иногда слишком поспешный или категоричный в своих выводах, но зацепив эту нить, он уже не оставляет ее, то удаляясь, то приближаясь к внутреннему смыслу культуры. (Напомним, что стремясь



п о н я т ь, он не обязан давать нам отчет в своем способе мыслить и оценивать, ибо перед нами писатель-путешественник прошлого века, а не культуролог нынешнего ).

“Этот народ совершает свой земной путь, вовсе не думая о том, чтобы как-нибудь поудобнее устроиться на земле. У арабов, вместо жилищ, — какие-то натянутые на палки лохмотья, нет даже самых необходимых вещей, без которых жизнь кажется прямо невозможной: ни кроватей, ни простынь, ни столов, ни стульев, никаких доставляющих удобства мелких вещей! У них нет мебели для хранения имущества, нет никаких ремесел, ни искусства, ни знаний! Араб с трудом сошьет козлиные кожи для хранения в них воды. Иногда же он будет употреблять такие странные и первобытные приемы, что глядя на него, просто остолбенеешь <...>. Эти бродячие всадники не чувствуют привязанности ни к земле, ни к жизни. <...> Наша культура скользит по ним, не оставляя ни малейших следов” (19).

Пустота пустыни вторит пустоте мечети — той пустоте, в которой живет лишь звук, но нет места “вещи”. Смысл ее не сразу открывается писателю — сначала зрелище собрания молящихся предстает ему как вид фанатиков, выполняющих “религиозные обряды с точностью и однообразием прусских солдат во время учения” (20). Но вот, возвращаясь на Восток после шока “Эйфелевой башни”, он вновь входит в мечеть — и совершенно иной уровень восприятия, а вслед за ним и понимания порождает и новый текст о том же: “Нельзя даже приблизительно себе представить, какова была бы от природы натура араба, настолько она обусловлена его верованием, сущностью Корана и учением Магомета. <...> Проходим под своды, поддерживаемые колонками зеленого, синего и красного мрамора. Выходим на внешний двор <...>. Солнце отражается внутри здания на плащах, на сухощавых и смуглых ногах, на бесстрастных лицах. Немного дальше на том же дворе школа. Рядом с нею фонтан, льющий воды под тенью широкого дерева. Все тут в одном месте — в этой тихой и мирной ограде: и религия, и правосудие, и просвещение” (21).



Изменился сам тон описания зримого: так не пишут о “варварах”, так припадают к встреченному в пути источнику, опускаются на землю в тени дерев, достигнув оазиса — пусть он далеко от родного порога, но быть может, нечаянный (путником не чайный) смысл пути и был в том, чтобы встретить это вдали от дома? “Все просто, гладко, бело, тихо и спокойно в этих оазисах веры. Как они отличаются от наших разукрашенных церквей, наполненных во время богослужения движением толпы, звуками службы, торжественными церемониями, пением, а вне богослужения — тоскливых и грустных, словно комната умирающего, холодная каменная келья, где Распятый еще томится в предсмертной муке.

Беспременно в мечеть входят арабы: бедняки и богатые, простой носильщик из гавани рядом с бывшим старшиной, с арабом высокого происхождения в блистательно шелковистой белизне. Но все одинаково босы, делают одни и те же жесты и молятся одному и тому же Богу с одинаковой верой, горячо и просто, без ханжества, искренно и сосредоточенно. <...>

В тишине храма ничего не слышно, кроме журчания воды. Она течет в фонтане, во втором, внутреннем дворике, откуда свет проникает в мечеть. Тень от смоковницы, осеняющей фонтан омовений, бросает зеленый отсвет на крайние цыновки, лежащие у входа в храм” (22).

Пересказывать или цитировать путевые дневники Мопассана более полно нет смысла — их лучше прочесть, чтобы ощутить внутренний диалог автора с представшим ему в путешествии миром — ожидаемым и неожиданным, то вызывающим протест, то вдруг открывающим свои сокровища и чарующим чужеземца. Он сам постепенно меняется в этом диалоге — становясь мягче и раздумчивее, проникаясь поэзией жизни, о которой скажет потом герой рассказа “Аллума”: “К этой стране сначала привыкаешь, а потом начинаешь даже любить ее. Вам трудно себе представить, как она захватывает, благодаря целой массе наших маленьких животных инстинктов, которых мы раньше не замечали... Воздух и тепло покоряют тело против нашей воли, а яркий



веселый свет, заливающий его, проясняет и удовлетворяет душу. Он непрерывными потоками входит в нас через глаза и словно омывает все темные уголки нашей души” (23).

Так Путь, начавшийся в пустыне, завершается открытием оазиса — хотя это и путь чужеземца, лишь посетившего этот край. Мопассан успел многое заметить здесь, и о многом счел нужным рассказать — и об истории древних городов, и о странных обычаях, и о том, как бы лучше, с его точки зрения, управлять этой страной, и о том, как она неуловима, несмотря ни на что, для Чужого: будь то красавица Аллума, уходящая в пески к родным шатрам или “живая легенда” Бу-Амама, предводитель восставших племен, который “довел нашу африканскую армию до сумасшествия и вдруг исчез, как будто сквозь землю провалился” (24).

Как ни кратко было соприкосновение великого француза с миром Востока, ему удалось даже в беглом очерке о Бу-Амаме обнаружить какие-то глубинные свойства покоренного и непокорившегося народа пустыни. Через полвека его соотечественник — Антуан де Сент-Экзюпери, оставивший меньше литературных трудов, но проживший гениальную по своей цельности и полноте жизнь, в тех же краях и в тех же песках встретит тот же мир неуловимых всадников, исчезающих в бескрайних пространствах, тот же странный диалог-дуэль, что ведет здесь Запад с Востоком на зыбкой границе войны и мира. “Капитан боннафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним не встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается оттого, что где-то существует капитан Боннафу. <...> Долгие годы он играл с ними в опасную игру — ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне и, как и они, проводил ночи наедине с ветрами и звездами, словно в библейские времена. И вот он уезжает, — значит, игра не была для него превыше всего. <...> И если Боннафу вернется, в первую же ночь эта весть облетит непокорные племена. Мавры будут знать — он спит где-то посреди Сахары, окруженный двумя сот-



нями своих пиратов. И молча поведут на водопой верблюдов. Запасут побольше ячменя. Проверят ружья. Движимые своей ненавистью — или, быть может, любовью” (25).

История кавалерии капитана Боннафу кажется зеркальным отражением рассказа о налетах Бу-Амамы — араб и француз поменялись ролями, но сюжет почти не изменился: смертельная игра в пятнашки притягивает друг к другу врагов, наполняет жизнь напряжением риска, а пустыню — жизнью. Антуану де Сент-Экзюпери закон Сахары открывается без тех усилий и внутреннего сопротивления, с которым сталкиваешься в текстах Мопассана. Это и немудрено, ибо часть пути к Востоку в пору Экзюпери уже пройдена — в том числе и Мопассаном. Но главное — для Сент-Экса и его товарищей — Сахара была не местом экзотического путешествия, но пространством освоения и ежедневного труда. Своей жизнью почтового летчика он уравнивается с теми, о ком пишет: здесь тот же риск, и то же знание, которое дается лишь в обмен на прожитые здесь годы. “В ноль часов десять минут почту уже перегружают в мою машину и я полечу на север <...> Но тут я слышу — стрекоза бьется о мой фонарик. <...> По-прежнему прохладно. Но меня уже предостерегли. <...> Ни небо, ни пески еще не подали знака, но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка.

Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, оно не заставит себя ждать. <...> Эти насекомые предсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока, она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых роцц. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. <...> Если бы за мною, в двадцати шагах, висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня словно бы предсмертной лаской. Но я знаю, еще несколько секунд — и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут — заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не



пройдет и десяти минут — все небо заволочут тучи песка. Сейчас мы ринемся в это пекло, в огневую пляску беснующейся пустыни. <...> Но я взволнован другим. Неистовая радость переполняет меня: я почувал опасность, как дикарь чутьем, по едва уловимым приметам, угадывает, что сулит завтрашний день; с полуслова я понял тайный язык пустыни, прочел ее нарастающую ярость в трепетных крылышках стрекозы” (26).

Так вот она, тайная цель этого стремления за пределы своего, обжитого мира: вернуть утраченное знание и в нем обрести себя, как обретает себя капитан Боннафу, научившись спать “на их камнях” и в то же время “как в библейские времена”. Не так ли и в пору Ренессанса или еще прежде того, в крестовых походах к Истокам библейского мира на чужбине искали свое сокровенное, заодно открывая его и “у них”, а за множеством чужеродного и непривычного — общее и вечное? Ведь и Мопассан, устремляясь из Парижа и в 1881 и в 1889 гг., бежал ложного состояния — состояния гипертрофированного “Я” или множества этих “Я”, утративших масштаб жизни у подножия Эйфелевой башни.

Антуан де Сент-Экзюпери как ни один из путников двадцатого столетия обращает свою жизнь в вечно длящееся путешествие. Что могло открыть это странствие-парение, небесный путь над землей, так сокративший расстояния и время? Утратили ль свои места на карте и на земле Восток и Запад оттого, что Арго поднялся в воздух? — Разумеется, что-то случилось, но не только самолет тому причиной: для Сент-Экса он “такое же орудие, как и плуг”, и полет над Сахарой или Андами так же труден и опасен, как и путь по морю для Лионардо Фрескобальди. Изменился опыт — он прирос в истории, и то, что побуждало записывать подробности итальянцев в Александрии или Мопассана в Алжире, уже не волнует Экзюпери. Внешне даже тянется та же канва: непокорные племена и французские гарнизоны, поразительные примеры взаимного благородства у офицеров дальних фортов и арабских шейхов и столь же впечатляющие образы внезапной жестокости и вероломства. Но меняется тон — Экзюпери не возмущается и не удив-



ляется — каждый сюжет обретает форму притчи, повествующей о законе пустыни, о законе, который он принял, как ее зной и пески.

Пустота пустыни и пустота неба соединяются в этом новом странствии, чтобы вновь одарить путника — пахаря небес. Одиночество полета заставляло еще нежнее любить землю, открывающуюся небесному страннику. Даже тогда, или тем более тогда, когда земля эта — все та же пустыня:

*“Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался рассвета... На этой пустынной верфи, исполосованной мраком и луной, царила тишина прерванных на час работ, а может быть, безмолвие капкана, — и в этой тишине я уснул.*

Очнувшись, я увидел один лишь водоем звездного неба, потому что лежал на гребне дюны, раскинув руки, лицом к этому живозвездному садку. Я еще не понимал, что за глубины мне открылись, ... и уже во власти головокруженья я чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаюсь в пучину.

Но нет, я не падал. Оказалось, весь я с головы до пят привязан к земле. И странно умиротворенный, я предавался ей всей своей тяжестью. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь.

Оказалось — моя собственная тяжесть прижимает меня к планете... я наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и угадывал над собой выгнутую палубу моего корабля” (27).

Казалось бы, что за опыт, помимо опыта уединения, можно было обрести в песках Сахары? Не преувеличиваем ли мы ее роль в познании иной культуры — культуры Востока, открывающейся европейцу? Однако путь, пройденный по земле людей в самом безлюдном и голом, словно в первый день Творения, месте, открывает особый опыт. Словно Экзюпери, пройдя через зной, жажду, миражи и наваждения Сахары, получает и телесный опыт народа, создавшего культуру ислама, и сам обретает знание скрытых глубин этой культуры. Так на свет появляется повесть-притча о мудром



ребенке, Страннике и Учителе, явившемся Путнику в песках, чтобы вернуть ему изначальную чистоту Бытия, утраченную (растраченную) в мире взрослых (почитателей Эйфелевой башни). И здесь оказывается, что Восток и Запад, так далеко разошедшиеся во внешних проявлениях культуры, вдруг соединяются, прикоснувшись к общим корням. И райским деревом становится капризная роза на далеком астероиде, и вечным Садовником — ее верный Маленький Принц, и священный источник течет в том раю — это к нему каждый день отправляется юный мудрец. И образ Сокрытого сокровища, барашек в коробке, — как раз такой, какой нужно! — таит в себе образ Вечной жертвы. Странной антирифмой к этому образу оказывается змея, проглотившая слона (Антуан — ребенок, как и Маленький Принц, один знает, что это вовсе не шляпа), вдруг вернувшаяся в повесть, чтобы открыв ее в самом начале, поставить в конце точку.

Самолет Экзюпери, прочертив небо над Сахарой несчетное число раз, держа курс на маяки аэродромов, еще был подобен каравеллам и бригантинам прошлых времен — он не уберегал от бурь, не отделял от земли, над которой проплывал в небесном океане. Вид земных просторов, открывшийся с небес не только обращается новым знанием, это опыт, который бережно передают друг другу новые небожители перел вылетом. Карта не расскажет об этом, и стоя над ней, как в древние времена, наставник учит новичка тайнам земли и неба. Здесь все имеет значение: и направление ветра, и память о долине, где можно сделать посадку, и благодарное воспоминание о ручье, давшем прохладу, и опасности близ внезапно встающей горной гряды — и все это устное предание в узком кругу посвященных, паломников неба, небесных хаджи.

Так столетия назад сложился удивительно похожий текст, записанный древним поэтом, словно пролетевшим над землей и оттуда, с небес, познавшим ее красоту и к ней, как к женщине, восплававшим любовью.

*“Меж тем, как поселянки обратят на тебя, от кого зависит урожай, свои сияющие от радости очи, которым неведомо лукавство, ты поднимешься над полями плоскогорья, бла-*



гоухающими после свежей пахоты, и, продвинувшись немного к западу, опять повернешь на север, ускорив свой полет. <...> Отдохнув немного на той горе, в куцах на склонах которой проводят досуг жены лесных жителей, ты полетишь дальше быстрее,... и увидишь внизу реку Реву, струящую воды меж неровных скал у подножия гор Виндхья, разбившись на узкие потоки, образующие узор, подобный тому, что красуется на шкуре слона" (28).

Это строки из поэмы Калидасы "Мегхадута" — "Облаковестник", вобравший в себя мотивы еще более древних безымянных песен и преданий. Небесный путь посланца разлученных влюбленных проходит над земными путями странников, и опыт земного путешествия отражается в зеркале небес. Такие тексты создавались и до великого поэта индийской древности, и после него: описание путешествия в поэтической форме, а порой лишь перечисление населенных пунктов и святилищ — так называемые "каталоги" включались во многие канонические и традиционные тексты. Это знания, накопленные странниками — паломниками, купцами, воинами — география Пути, передаваемая из века в век. Это к нам обращенное знание, и нам предстоит узнать из текста о том, чего на Земле уже не найти, что исчезает с ее поверхности, чтобы сохраниться лишь в памяти, истории, и лишь Знающему придорожный камень открывал тайну стоявшего здесь некогда города.

Именно так путешествовал со своими спутниками Лионардо Фрескобальди, соединяя в своих записках открывающийся быт чужеземных народов с почтительным описанием древних святых мест. Его вера и знание ведут его по намеченному пути с неудержимой стремительностью эпического героя, редкой отвагой и пренебрежением к трудностям. И строки текста — паломничество будущих читателей — так естественно и так необходимо следовали за странствием вплоть до середины XX в.

"Хирургия пространства", рожденная веком высоких скоростей и телевидения, отменяет путешествие в незнакомый мир, упраздняет



путь, заменив Путника туристом, а путевой дневник — видео-репортажем.

Не оттого ли, приближаясь к древнему городу, путник вдруг начинает бормотать навязчивый стишок, тут же и сочиненный, про Хиву и про халву, и ни удивления, ни радости путешествия, не говоря уже об опасностях пути, не рождает его странствие? Но...

*“Ах, если бы мне тогда подсказали, что эта пасмурность безоблачного неба, эта муть в пейзаже объясняются словом п у с т ы н я на горизонте, я бы вынул другие глаза! Но мне никто не помог словом... <...> Вот когда я увидел первый минарет, то и небо вдруг сверкнуло чистым и глубоким цветом, словно осколок эмали вернул ему его идею и отражение осмысляет предмет”* (29). Разумеется, если это отражение — в зеркале подлинной культуры.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. В данном случае мы пользуемся понятием “миф” в его расширенном толковании, близким к употреблению его А.Ф.Лосевым, М.Элиаде, В.Н.Топоровым, исходя не только из “отражающей” природы мифа, но и его онтологической сущности, способности формировать бытие и сознание.

2. Путешествие во Святую Землю Лионардо ди Никколо Фрескобальди. / Путевые записки итальянских путешественников XIV в. Перевод со староитальянского и примечания Н.В.Котрелева. Вступительная статья И.М.Фильштинского. // Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, 1982. С.20.

3. Там же. С.16.

4. Там же. С.16-17.

5. Там же. С.18.

6. Так, для Кнута Гамсуна, совершавшего путешествие на Кавказ, “Азия” начинается с московского трактира, поразившего его своими гигиеническими нормами (чтобы еще раз удивить снова — уже на Кавказе — превосходством восточной гигиены над западной).

См. также: А.Битов Азарт (Изнанка путешествия). С.401.

7. *Ги де Мопассан. Собрание сочинений. Книга 12; ЗиФ, 1929. С.3-4.*



8. *Ги де Мопассан. Собрание сочинений. Книга 10. ЗиФ, 1929. С.10.*
9. Путешествие во Святую Землю... С.19-21.
10. *Ги де Мопассан... Книга 11. С.4-5.*
11. Там же, С.6.
12. Там же. С.8.
13. Там же. С.12.
14. Там же. С.9.
15. Там же. С.10.
16. Путешествие во Святую Землю... С.30.
17. *Ги де Мопассан... Книга 11. С.54-55.*
18. Там же. С.90-91.
19. Там же. С.62-63.
20. Там же. С.37.
21. *Ги де Мопассан. ... Книга 12. С.94-95.*
22. Там же. С.96.
23. *Ги де Мопассан,... Книга 10. С.128.*
24. *Ги де Мопассан.... Книга 11, С.24.*
25. *Антуан де Сент-Экзюпери. Сочинения в двух томах. Том 1, М., 1994. С.229-232.*
26. Там же. С.224-225.
27. Там же. С.209.
28. Цит.по: *Эрман В.Г. Калидаса. М., 1976. С.119.*
29. *Битов А. Азарт (Изнанка путешествия) // в сб.А.Битов "Воскресный день". Рассказы, повести, путешествия. М.: Сов. Россия, 1980. С.404.*